



В. В. ВЕЙДЛЕ

Три России

Двух или трех десятилетий было достаточно современникам Петра, чтобы прошлое, еще непосредственно памятное им, обернулось в их же глазах чем-то от их настоящего невооруженно отделенным. Того же недолгого срока достаточно и нам, чтобы Россию, созданную Петром, ту, где мы родились и жили, увидеть такой же законченной, уходящей вдаль, навек минувшей, какой стала для современников Петра допетровская Русь. Разве возвращение столицы в Москву не есть символ начала и конца, совершенно подобный тому, каким было некогда основание Петербурга? Для нас существуют отныне две завершённых эпохи русской истории и третья, едва начавшаяся, о которой можно предсказать, что она будет, во всяком случае, не больше похожа на две другие, чем те были сходны между собой, и уж, конечно, меньше отвечать планам своих строителей, чем ответила замыслу Петра петербургская Россия. Было бы странно, если бы такое настоящее, как наше, не помогло нам видеть отчетливее наше прошлое. На реках вавилонских нет нужды учиться плачу, но можно учиться созерцанию.

I

Россия не удалась в том смысле, в каком удались, что бы ни случилось с ними дальше, Италия, Англия или Франция. Национальной культуры, такой всесторонней, последовательной, цельной и единой, как эти страны, она не создала. Ее история прерывиста, и то лучшее, что она породила за девятьсот лет, хоть и не бессвязно, но связано лишь единством рождающей земли, а не преемственностью наследуемой культуры. Ее творческие силы скудными никогда не были, но их полное цветение ста-

ло возможно лишь за сто лет до такой катастрофы, какая еще никогда не постигала ни одну из европейских национальных культур. Ей самой к тому же прообраз этой катастрофы пришлось и в прошлом пережить не раз: в гибели киевской земли, в падении Новгорода и особенно в петровской реформе. Уже کوچевание ее столицы не может не поразить, если смотреть на него из Рима, Лондона или Парижа, а отъединенность ее последних двух веков от семи предыдущих есть рана, которая накануне ее революционного разгрома еще только начинала заживать. Русская история не раз обрывалась и начиналась вновь, так что приходилось и русское государство заново строить, и русскую душу заново воспитывать, а делать это было тем труднее, что русский народ никогда целиком в этих усилиях не участвовал и нередко о них вообще ничего не знал. За итальянским Возрождением, за образованием английского государства и Британской империи, за Францией Шартрского собора, как и за Францией наполеоновских войн, стоит весь итальянский, английский, французский народ; но в русской истории весь народ проявлял себя до сих пор почти исключительно в явлениях стихийных: в крестьянской колонизации, казачьей вольнице, в восстаниях Разина и Пугачева, в возвращении с фронта в 1917 году. Основная трудность, с которой так и не справилась ни киевская, ни московская, ни петербургская Россия, как раз и заключается в этой разобщенности народа и культуры, народа и государства, лишаящей культурную традицию настоящей прочности и препятствующей лечить однажды происшедший в ней разрыв. Эта трудность уже налицо, когда начинается Россия. Она исконна потому, что ее породила сама русская земля.

Об этом говорили тысячу раз, и, кажется, не все еще сказали: первый факт русской истории — это русская равнина и ее безудержный разлив. Широкими волнами растекающаяся вдаль безбрежная земля есть воплощение беспредельности гораздо более полное, чем море, потому что у моря есть берег и есть другие, дальние берега, к которым уже отплывает Синдбад или Колумб, тогда как земля, и земля, и еще земля без конца ни к какой цели человека не влечет, а только говорит о собственной бескрайности. Русские просторы зовут странствовать, бродить, раствориться в них, а не искать новых стран и новых дел у неведомых народов; отсюда непереваемость самого слова «простор», окрашенного чувством, мало понятным иностранцу, и объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегородженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного, понимание свободы не как права строить

свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя. По русской равнине разлился крестьянский народ, завоевал ее, особенно в лесной полосе, упорным, нескончаемым трудом, но трудом однообразным, размеренно-повторным, воспитывающим если не пассивность — в этом земледельца упрекнуть нельзя, — то привычку ко всегда одинаковому, уже не ощущаемому как волевой акт усилию. Этот разлитой в необозримом пространстве народ никаких масс до последнего времени не образовывал нигде и потому культуру удушить не грозил, но, отказываясь и вообще сплываться в более тесные, изнутри расчлененные группы, он ее вечно распылял, рассасывал, растворял, не давая ей отстояться в твердой и выношенной форме, а то, что не поддавалось растворению, нес неохотно и при первом случае готов был сбросить с плеч.

Конечно, народная жизнь и сама не бескультурна, а потому конфликт, о котором идет речь, следует формулировать точнее. Русский фольклор, как известно, весьма богат, и притом, если принять во внимание огромность его площади распространения, очень однороден. Эта, как я предлагаю ее назвать, горизонтальная культура не только несравненно лучше сохранилась еще и в послепетровской России, чем в большинстве других европейских стран. Она, по-видимому, уже и в Древней Руси была более разработана, шла глубже, захватывала жизнь полней, чем в этих странах. Такой была она, однако, именно потому, что оставалась горизонтальной, что другая, вертикальная культура из нее не выросла, а если и воздвигалась, то несколько поодаль, впитывая из нее лишь немного и обогащая ее лишь ценою собственного упадка. Всякий фольклор с течением времени беднеет, и состав его меняется. При нормальном историческом развитии лучшее, что в нем есть, уходит в высокую культуру и заменяется постепенно ее отработанными ценностями, «опускающимися», т. е. уходящими в народ. Древнее народное искусство Запада дало ростки, из которых после их скрещивания с позднеантичной художественной традицией выросло великое средневековое искусство; зато в настоящее время народная одежда французских провинций хранит всего лишь память о старых городских модах, а песни, что поют в немецких деревнях, происходят по большей части из альманахов XVIII века. Напротив, русский мужик так и не нарядился в барские обноски, и городской романс до самой революции не вытеснил из деревни старую народную песнь. Правда, из допетровской культуры народ многое взял и сохранил в себе, но в результате этого усвоения как раз и рассыпалась сама эта культура, не сумевшая, в отличие от культуры западного

Средневековья, вобрать в себя все народное творчество; и народ остался со своей, народной, предоставив строить другую господам, по чужеземному образцу.

Богатством русского фольклора нельзя не восхищаться, но горизонтальная культура вертикальной ни при каких условиях не может заменить. Самый лучший лубок несравним с рублевской иконой, «Царь Максимиан» — не «Макбет» и былина об Илье Муромце — не «Божественная Комедия» и даже не «Песнь о Роланде». Для литературы и искусства допетровской Руси характерно обилие произведений, приближающихся к фольклорным и достигающих с точки зрения народного искусства весьма высокого художественного уровня, но также характерны редкость и отъединенность таких созданий высокого вкуса или бурного творческого огня, как «Слово о полку Игореве», проповеди Кирилла Туровского, «Троица» Рублева, Покровская церковь на реке Нерли или храм в Коломенском под Москвой. Сложившиеся за эти долгие века церковный быт и религиозно-нравственное сознание русского народа составляют едва ли не самое глубокое и прекрасное проявление народного христианства, какое вообще явила нам история; это, однако, не должно заставить нас закрыть глаза на чрезвычайную скудость древнерусской религиозной мысли сравнительно с западной или византийской, на полное отсутствие у нас чего-либо подобного возникновению великих монашеских орденов, подъему философского и мистического созерцания, всему тому расцвету высокой религиозной культуры, каким отмечена вершина западного Средневековья. И точно так же разнообразным, развитым, утонченным формам народного общественного быта противостоит в Древней Руси слабость, расплывчатость или первобытная грубость государственного устройства и вообще высоких общественных форм. Повсюду возвращаешься к той же картине: русский народ растекается по бескрайным своим степям и лесам, он живет совсем не дикарской, но осмысленно-трудовой, благообразной и не лишенной творчества жизнью, однако *этой* жизнью, *этой* степенью творчества он как будто и готов удовлетвориться, отказавшись от тех его степеней, что требуют совсем другого держания, напряжения, риска, а в социальной своей основе — прежде всего неравенства.

Если культура остается горизонтальной, вместо того чтобы тянуться ввысь, то это всегда и повсюду означает невыделенность творящего высокую культуру слоя, недостаточную иерархичность в строении общества. Слабость иерархического принципа, инстинктивное отталкивание от него было всегда характерной чертой России. Великим воспитателем западного

мира — идеи службы, идеи чести, идеи оправданного неравенства — был феодализм, которого Россия не знала, ибо отдельные учреждения, родственные феодальным и существовавшие у нас, целостным его смыслом не обладали, а главное, были всего лишь утилитарными приемами государственной власти, тогда как феодализм на Западе был всеми разделявшимся образом мысли, способом представлять себе общественные отношения, из которого выросли конкретные формы государственного устройства. В том-то и заключалось особое положение уже и Древней Руси, что в ней государство и осуществлявший государственную власть правящий слой оставались чем-то внеположным по отношению к народу, не соединенному с ними теми многочисленными связями, какие рождает иерархически построенное общество. Сами выражения «*правлящий слой*», «*культурный слой*» подходят более к России, нежели к другим странам, где правящую или творчески наиболее активную часть народа не снимешь с его толщи, как «*слой*», как сливки с молока, потому что при большом количестве промежуточных ступеней нельзя и разобрать, где начинаются сливки и где кончается молоко; одна Россия всегда была похожа на огромную ватрушку из отличного теста, которую скарредная хозяйка едва прикрыла тонким слоем творога. Иностранцам народ и культурный слой всегда казались у нас чуть ли не двумя разными народами. Дело тут не в этнической чуждости, хоть и она сыграла роль, особенно в киевской и петербургской России (но не решающую, как видно по сравнению с совсем иной судьбой завоеванной норманнами Англии); дело в том безучастии, с каким смотрел на свою историю и на культурное творчество верхов народ, тяготевший не к исторической, а скорей к фольклорной жизни.

Рассказ летописи о призвании варягов, как бы ни толковали историки его прямой смысл, имеет еще и смысл символический. Варягами, хоть и самого русского корня были московские бояре, варягов призывал из-за границы или воспитывал у себя дома Петр, варяжским делом была и российская империя, и русская революция, да и нас самих, эмиграцию, можно возвести к некоему изгнанию варягов. Варяги правили Россией, как умели, встречая иногда активное сопротивление Разиных и Пугачевых, а гораздо чаще — пассивное, всего русского населения. Руководились они обыкновенно правилами хищнического хозяйства, т. е. стремились добиться немедленных результатов, не слишком думая о будущем. Государству нужны были служилые люди, и оно их добыло самым простым способом: раздачей крестьянских земель, а затем и прикреплением крестьян к этим землям; служилый человек получил

кров и стол, а государство, передав ему заботу о крестьянах, само от этой заботы избавилось. Организовать население более совершенным образом оно не умело, да население и довольствовалось теми старыми горизонтальными формами организации, которыми издревле обладало, стремясь в остальном не столько государство освоить, сколько от государства убежать. Городская и корпоративная жизнь у нас не расцвела, кроме Новгорода и Пскова, которых на всю Россию было мало и которые погибли от неумения государственной власти понять свою задачу иначе как уравнительно. Равнина располагает к равенству — в свободе или рабстве. Допетровское государство равенства не уничтожило, но сверху всех равно придавило своим аппаратом — потому что правящий класс только этим аппаратом и был, не больше, — придавило, но не пронизало, ни к государственной, ни к культурно-творческой работе по-настоящему не привлекло: «все» остались народом, но не стали нацией.

Национальное бытие, которое важней, чем национальное сознание, и нормально должно предшествовать ему, предполагает совместное, хоть и иерархически расчлененное, участие всего народа в создании высших духовных ценностей. Конкретный создатель этих ценностей — личность, но личность, не оторванная от совокупности культурного слоя, в свою очередь укорененного в народе. В допетровской Руси культурный слой был тонок и расщеплен. Едва выплыв из народной гущи, он снова в ней тонул, и с ним вместе тонули и растворялись в ней созданные им ценности. Характерно, что русская письменность за семь веков не выработала общего литературного языка, а русское искусство — целостного и последовательно развивающегося художественного стиля. Стилистическое единство всегда начинается с архитектуры, но в древнерусской архитектуре оно образовывалось четыре раза — в новгородских, владимирских, шатровых и так называемых нарышкинских церквах, каждый раз обрываясь после двух-трех выдающихся творений и не доведя развития до конца. Русская икона — несмотря на отличие новгородско-псковской школы от владими́ро-московской — обладает гораздо большим стилистическим единством, но этим она обязана Византии, ибо она скорее продолжает византийский стиль, привнося в него некоторые национальные черты, чем создает свой собственный (как это сделала, исходя из той же византийской живописи, Италия). Последний век допетровской Руси являет поразительную картину возвращения культуры на уровень фольклора, всеобщего распыления и рассасывания в народе высоких культурных форм. В области религиозной жизни показатель тому — раскол,

восстание народной религиозности против более ученого, дисциплинированного и сознательного православия; в области литературы — торжество народной повести и усилившаяся анархия языка; в области искусства — путь от мастера Дионисия к ярославским росписям, от строгого иконного письма к иллюстрации и лубку, от сосредоточенной и выразительной архитектуры шатровых храмов к декоративному растворению любого строительного замысла. Все отчетливо оформленное, носящее печать личности, все сотворенное до конца неудержимо растекается в завитках, переливах, узорах. Вместо форм — узорочье, меткое слово тех лет, лучше которого не найдешь для определения того, чем кончилась, куда излилась душа старой России накануне цирюльников, казарм и всепьянейшего надругательства над Церковью. После того как все расшаталось, осело, размякло, не так уж много осталось и разрушать.

II

Петровская реформа неверно оценивается славянофильской традицией как беспримерный в истории, извне навязанный народу культурный перелом, но и западническая традиция тоже неправа, когда видит в ней всего лишь осуществление чего-то давно подготовлявшегося и вполне необходимого. Ее можно сравнить с тем, тоже очень болезненным, переломом, какой пережила Германия за два века перед тем, когда ее старая, укорененная в душах средневековая культура столкнулась с неудержимой волной Возрождения, шедшего из Италии. Пропась, разделявшая эти два мира, была ничуть не меньше той, что отделяла Россию царя Алексея от современного ей Запада: процесс сращения их был столь же длителен и труден, и к тому же ничто в самой Германии не подготовляло ее к восприятию чуждых ей культурных форм, в то время как Древняя Русь обладала чертами, уводившими ее от Византии и приближавшими к Западу. Две особенности, однако, отличают реформу Петра от переворота, пережитого Германией: низкое качество того, что она хотела России навязать, и само это навязывание, т. е. революционный ее характер. Германия столкнулась лицом к лицу с Флоренцией и Римом, с Леонардо и Макиавелли, а России приказано было заменить Царьград Саардамом, икону — «парсуной», а веру и церковный быт — шестипалым младенцем из царской кунсткамеры. В Германии никто не заставлял Дюрера подражать итальянцам или позже Опица писать стихи на французский лад, а в России Петр резал бороды и рукава и перекраивал мозги в меру своего

знания о том, как это делать. То, что он совершил, было первой революцией, какая вообще произошла в Европе, ибо английская революцией в собственном смысле не была, а до французской никто и не думал, что можно в несколько лет создать нечто дотоле неизвестное: канувший в прошлое мир, старый режим. Если бы дело сводилось к изменению русской жизни путем прививки ей западных культурных форм, можно было бы говорить о реформе, и притом о реформе вполне назревшей и своевременной, но путь шел к сношению старого и к постройке на образовавшемся пустыре чего-то разумного, полезного и вытянутого по линейке, а такой замысел иначе как революционным назвать нельзя.

Петр был первым технократом новых времен, первообразом того, что один историк (Тойнби) предложил назвать *Homo Occidentalis Mechanicus Neobarbarus*. Вольтер ценил в нем революционера, Дефо — державного Робинзона, плотничающего посреди русской пустыни, современный «прогрессист» мог бы ценить в нем своего предшественника, для которого культура уже сводилась целиком к технической цивилизации. Россию он переделывал во имя здравого смысла и очередных практических нужд, не спрашивая ее мнения, не считаясь с ее чувствами, разрушая в ее укладе не только то, что казалось вредным, но и то, что казалось недостаточно полезным. Ограниченность его была велика, но все же не превышала его гения. На Западе он не видел ничего, кроме еще неясных очертаний будущей Америки, но, толкнув Россию к Западу, он все же исполнил ее судьбу и сделал то, что как раз и требовалось сделать. Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина; он думал о верфях и арсеналах, но вернул Европе Россию, а за ней — весь православный мир, поворотом с востока на запад восстановил единство христианского мира, нарушенное разделением Римской империи. Он парализовал на два века деятельность Русской церкви, он окончательно отрезал от народного быта культурный быт, он многое в России покалечил и многое окостенил, но в самом главном он успел как не слишком заботливый хирург, ничего не спасший больному, кроме жизни. Дело Петра переросло его замыслы, и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более сложной и богатой, чем та, которую он так свирепо ей навязывал.

Двояким образом, однако, вся ее дальнейшая судьба была отмечена печатью его гения: он хотел от нее творчества, хотя бы и только технического и материального, и она ответила ему творчеством в самом широком смысле слова; он представлял себе государство по старой русской привычке, получившей поддержку в рационалистическом абсолютизме современного ему Запада,

как нечто внеположное стране, почти как смирительную рубашку на сумасшедшем, который иначе стал бы буйствовать, и страна ответила ему еще обострившимся против прежнего взаимным отчуждением государства и народа. В конечном счете мы обязаны Петру и всем тем великим, что было создано петербургской Россией, и той катастрофой, что положила ей конец.

Царь-плотник, к несчастью для нас, был в очень малой мере царем-садовником. Рожи листовниц он любил сажать, но Петербург на сваях вбил в болото; и все же одно насаждение его — русское дворянство — удалось ему едва ли не лучше, чем все то, что он для России смастерил. Новый правящий слой отличался от старого своей многочисленностью и открытостью, полным отсутствием кастовой замкнутости (по крайней мере, в эпоху своего расцвета), а главное, тем, что он был одновременно и культурным слоем, чего нельзя сказать ни о служилом сословии времен царя Алексея, ни о чиновничестве и знати времен Александра III и Николая II, ни, еще того менее, о полуграмотных партийцах, ныне управляющих Российской империей. Дворянство и создало культуру петербургской России, причем важно не то, что Ломоносов не был дворянином, а то, что в дворянской культуре нашлось место и для Ломоносова. Помещик к тому же был естественно ближе к крестьянину, чем позднейший городской интеллигент: в знании народа еще никакой разночинец не превзошел Пушкина, Толстого или Бунина; трагедия тут заключалась не в кровной и стихийной розни — в этой области как раз была общность, а не рознь; она заключалась в непримиренности культурных традиций, во все той же несогласованности культуры горизонтальной с вертикальной, несогласованности, которую Петр не исправил, а только углубил, в неизменной безучастности народа и к тому, как живут верхи, и, что куда важней, к тому, что они творят. До тех пор, однако, пока все это так грозно не обернулось тем безмолвием народа в день четырнадцатого декабря, что было страшней всех выстрелов на сенатской площади, до тех пор, да еще и много лет спустя, русская культура, созданная дворянством, жила такой полной и счастливой жизнью, какой больше никогда, ни позже, ни раньше, никакая культура в России не жила. Культура эта была национальной, хотя русский народ в целом еще не превратился в нацию. Ее величайшим созданием был литературный язык, благодаря образованию которого новая русская литература попала сразу в совсем иное положение по сравнению с литературой Древней Руси. Другие искусства, напротив, не достигли той степени стилистической цельности, которой они достигали по временам в России допетровской, что объясняется отчасти общими измене-

ниями, постигшими все европейское художественное творчество, а отчасти особыми свойствами дворянской культуры, тяготевшей в области пластических искусств скорее к широкой декоративной прелести, чем к насыщенности их индивидуальной формы. Однако и тут были у нас обрусевшие или русские строители Петербурга, был Шубин и Козловский, Левицкий и Сильвестр Щедрин, был гениальный живописец — Александр Иванов. От восемнадцатого к девятнадцатому веку все углублялась и росла вся наша духовная жизнь: современниками Пушкина были Серафим Саровский и Сперанский; все углублялась и росла — пока не случилась трещинка.

К середине тридцатых годов трещина обнаружилась вполне. Она сказала в чаадаевских сомнениях о смысле русской истории, в славянофильском восстании Москвы против Петербурга, в пониженной оценке Пушкина, а значит, и того, на чем был построен пушкинский мир, во всеобщем потускнении символов императорской России. Как передает Сергей Соловьев, Блок в 1915 году «развивал мысль о пушкинско-грибоедовской культуре, которая, по его мнению, была уничтожена Белинским, отцом современной интеллигенции». До него Розанов писал о приходе разночинца, разрушившего «дворянскую культуру от Державина до Пушкина»¹. Конечно, суждения эти упрощают дело, однако они верны в том смысле, что кризис тридцатых годов совпал с рождением интеллигенции, и не только совпал, но был с ним глубоко связан, интеллигенции же предстояло в себя включить значительное число «разночинцев», которые через двадцать или тридцать лет уже стали вытеснять из нее дворян. Перемена, происшедшая таким образом в составе русского культурного слоя, имела огромное общегосударственное значение, не потому, конечно, что дворяне были хороши, а интеллигенты плохи, но потому, что дворяне были одновременно и культурным, и правящим слоем, а интеллигенция стала лишь частью культурного слоя и с самого начала противопоставила себя слою правящему. Отсюда и получилось то губительное для России расщепление культурных сил, с точки зрения которого прав оказывается умный, хоть и давно забытый наблюдатель русской жизни Р. А. Фадеев, писавший в семидесятых годах: «Вопреки примерам, стоявшим перед нашими глазами, мы сделали опыт, никому еще не удавшийся в Европе и шедший вразрез всему содержанию нашей послепетровской истории: окунулись в полную бессловность, растворили в массе свое, еще недостаточно связанное, еще не созревшее культурное сословие, требовавшее времени и самостоятельности для того, чтобы стать на ноги, — и теперь вкушаем уже первые плоды начавшегося

всеобщего нравственного разброда, но только первые — далеко еще не последние плоды»².

Ошибка Фадеева только в том, что он пользуется юридическим понятием сословия, а не социологическим — слоя или класса. С середины века единого культурного слоя в России действительно больше не было, а была бюрократия, была интеллигенция и были не примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные люди. Эти последние чем дальше, тем больше, становились подлинными носителями русской культуры, но к русскому государству не имели никакого отношения — ни правительственного, как бюрократия, ни оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для них не то же самое) и потому хирели культурно; относительно аристократического и чиновничьего мира это, кажется, ясно всем, но это столь же ясно и относительно враждебного ему лагеря: Герцен и Бакунин были высококультурными людьми, Чернышевский и Добролюбов стояли уже на более низком уровне, Михайловский и Лавров были людьми еще более ограниченной культуры, а после них классический интеллигент начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему научившемуся от не причислявшихся к интеллигенции образованных людей, либо прямому своему наследнику, полуинтеллигенту, о культурном уровне которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, явствует из унаследования им одним основной интеллигентской черты: исключительной одержимости политикой, убеждения, что горсть политических идей важнее религии, важнее культуры, важнее всего прочего содержания жизни и истории. Интеллигент одинаково не признавал своим человека, не разделявшего его политических идей, и человека, безразличного к политическим идеям. У Врубеля, Анненского или Скрябина могли быть (как, впрочем, и у любого бюрократа) интеллигентские черты, но классический интеллигент не счел бы этих людей своими и окончательно отшатнулся бы от них, если бы мог им поставить на вид малейшую политическую ересь, — подобно тому, как достаточно было профессору не высказать одобрения студенческой забастовке, чтобы его отчислили от интеллигенции. Недаром существовали у нас две цензуры, действовавшие с одинаковым усердием и успехом, хотя одна имела в своем распоряжении государственный, а другая лишь общественный аппарат, одна — запрет, другая — организованную травлю. Травили у нас Леонтьева, Писемского, Лескова. К духовной свободе относилась

враждебно как большая часть бюрократии, так и большая часть интеллигенции. Оттого-то подонки интеллигенции в союзе с подонками бюрократии и могли образовать послереволюционную правящую верхушку.

Было, впрочем, время — то, что зовут «эпохой великих реформ», — едва ли не самое трагическое в русской истории, когда весь еще не распавшийся культурный слой, включавший и подраставшую интеллигенцию, и правившее еще дворянство, и государство, и общество, и всю ту Россию, что была нацией, но не народом, обратился к этому народу, чтобы дать ему то, в чем, казалось, он нуждался, чтобы с ним соединиться, чтобы сделать нацией и его. Но время потому и было трагическим, что попытка не удалась, и все реформы, включая и освобождение крестьян, были приняты народом как барские затеи, которые могут быть выгодны ему или нет, но всегда остаются ему чужды. Крестьяне хотели не столько избавления от крепостного права, сколько избавления от государства, будь оно представлено помещиком, исправником или воинским начальником; если бы они могли найти подходящие слова, они сказали бы, что им не нужна история, а довольно и своего крестьянского быта, и что они просят сохранить за ними быт на вечные времена. 22 апреля 1861 года Юрий Самарин написал письмо (позже опубликованное в «Красном архиве»)³, которое принадлежит к самым замечательным документам русской истории. Он говорит там о явлении, «которое теперь обнаружилось перед всеми с сокрушительной ясностью. Это — полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, т. е. ко всей той половине русской земли, которая не народ. Обыкновенно официальность и образованность относятся к народу, как власть, т. е. передают приказание и требуют послушания. В настоящем случае пришлось толковать, объяснять, убеждать, разуверять. Мы встретились с народным убеждением и сами убедились, что оно не только не подвластно нам, но что вообще слово не берет его, не действует на него нисколько. Спор возможен только при одном условии, когда у спорящих есть хоть одна общая исходная точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление — все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего убеждения. Правда, носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска,

а какого-то другого, самозданного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочно отпускного».

При встрече с народом новая Россия разбилась о наследие Древней Руси, не преобразованное Петром и его преемниками на троне или у трона; она разбилась о географию, о неизменность народной жизни, ее победил все тот же стихийный разлив русской земли. Будучи побежденной, она пошла навстречу своему распаду: с шестидесятых годов начинается история русской революции. Быстро стали образовываться два враждебных механизма, бюрократический и интеллигентский, правительственный и революционный, два механизма, мешавшие видеть, мешавшие отличать реальные нужды страны от теоретических постулатов революции или контрреволюции, постоянно нарушавшие естественное развитие культурной жизни. Чеховский разбитый параличом мир обязан своим происхождением действию обоих механизмов, а не одного только, как обычно думают. И точно так же, в обоих лагерях, а не только в одном, крушение реформ, не достучавшихся до народного ума, вызвало особое тяготение к народу. Интеллигенты «ходили в народ», что бывало подвигом истинной любви, но с народом пытались сблизиться и официальные верхи русского общества, в чем подвига (благодаря методам сближения) было меньше, но толку точно так же не было совсем. Опрощался барин Толстой, и в этом было, по крайней мере, столько же от барства, сколько от мотивов, прозрачных для интеллигенции; опрощались такие толстовцы, в которых простоты было от природы более чем достаточно; но опрощались и русские цари, и в каком-нибудь будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина. Россия, созданная Петром, кончилась покаянием, но не только за царевича Алексея и казненных стрельцов, а за Грозного, за Калиту, за призвание варягов. Сами варяги и каялись — за то, что Россия стала нацией, но не включила в нацию народа.

III

Самое поразительное в новейшей истории России то, что оказался возможен тот Серебряный век русской культуры, который предшествовал ее революционному крушению. Правда, длился этот век недолго, всего лет двадцать, и был исключительно и всецело создан теми образованными и творческими русскими людьми, которые не принадлежали ни к интеллигенции в точном смысле слова, ни к бюрократии, так что не только народ о нем ничего

не знал, но и бюрократия с интеллигенцией частью его не замечали, частью же относились к нему с нескрываемой враждой. Правда и то, что сияние его — как и подобает серебряным векам — было в известной мере отраженным: его мысль и его вкус обращались к прошлому и дальнему; его архитектура была ретроспективной, и на всем его искусстве лежал налет стилизации, любования чужим; его поэзия (и вообще литература), несмотря на внешнюю новизну, жила наследием предыдущего столетия; он не столько творил, сколько воскрешал и открывал. Но он воскресил Петербург, воскресил древнерусскую икону, вернул чувственность слову и мелодию стиху, вновь пережил все, чем некогда жила Россия, и заново для нее открыл всю духовную и художественную жизнь Запада. Конечно, без собственного творчества все это обойтись не могло, и как бы мы строго ни судили то, что было создано за эти двадцать лет, нам придется их признать одной из вершин русской культуры. Эти годы видели долгожданное пробуждение творческих сил Православной Церкви, небывалый расцвет русского исторического сознания, дотоле неизвестное общее, почти лихорадочное оживление в области философии, науки, литературы, музыки, живописи, театра. То, чем эти годы жили, что они дали, в духовном мире не умрет; только для России теперь всего этого как будто и не бывало. Это могло быть преддверием расцвета и стало предвестием конца.

Те, чьим делом были эти двадцать лет, прожили их в колебавшейся не раз и все же до конца протянувшейся иллюзии, что писаревщина кончилась, что шестидесятые годы на полвека отошли назад, что одна цензура всеми признана столь же нелепой, как и другая, что Горький балагурит, когда пытается запретить постановку Достоевского в Художественном театре⁴, и даже, пожалуй, что Нечаев и Ткачев были всего лишь героями романа, и что это в «Бесах» кто-то предложил ради торжества революции уничтожить все население России возрастом свыше двадцати пяти лет. На самом же деле оказалось, что с шестидесятыми годами еще не покончено, и Бюхнер с Молешотом еще не сданы в архив; оказалось, что знаменательный перелом, происшедший на пороге нового столетия в мировоззрении Булгакова, Бердяева, Струве и стольких других бывших марксистов, бывших нигилистов, бывших интеллигентов, сыграл роль лишь в предреволюционном цветении России, а в дальнейшей ее судьбе роли не сыграл. С каким презрением относились люди Серебряного века к передвижникам и знаньевцам, к горьковским буревестникам, репинским бурлакам и гражданской скорби из «Чтеца-декламатора»!⁵ А ведь именно передвижники и знаньевцы вместе с «Чтецом-декламатором» в конце

концов и победили, и мы узнаем если не их скорбь, то их стиль в планетарном провинциализме нынешней России. Победили же они потому, что духовный багаж классического интеллигента в свое время не просто развеялся по ветру, а стал, сильно отощав, достоянием полуинтеллигента, и от него еще до революции просочился кое-где в народ. Начетчики из полуинтеллигентов стали идеологами революции — той революции, которая удалась; потому что готовилось много революций, но удалась только одна: та, что хотела прежде всего до последнего камня все разрушить, а не одновременно строить и разрушать, и не о России думала, а только о себе и об условиях своей удачи.

Откуда этот пафос разрушения? Только в очень малой доле от марксизма, и ту революцию, что в России удалась, сделал не Маркс и не Плеханов: она идет от нигилистов шестидесятых годов, пафос разрушения — от пафоса отрицания. Недаром изъятие Бога и отметание всех духовных ценностей (т. е. таких, которые не сводятся к практической выгоде для особи или общества) есть основной догмат русского коммунизма в гораздо большей мере, чем все специфически марксистские догматы: этим он изменял не раз, тому всегда оставался верен. Для Ленина марксизм был только орудием, которым он пользовался с большим искусством для своей настоящей цели — разрушения. Ленин хотел революции не ради каких-нибудь ее целей, а прежде всего ради нее самой, и сделал ее он, а не другие, именно потому, что другие хотели ее и еще чего-нибудь в придачу, а он — ее и ее одну. Конечно, он бы этого не признал, а может быть, и не сознавал, но его образ действий и его успех объяснимы только этим. Пока революция делалась, марксистские лозунги были выгоднее всех других, кроме вытекающих из состояния войны, вроде лозунга бросать фронт и уходить домой, лучшего ленинского козыря; когда же революция была сделана, пришлось волей-неволей проводить их в жизнь, потому что ничего другого в запасе у победителей не оказалось. Ленин был едва ли не одареннейшим из всех революционеров, когда-либо делавших революцию, но одарен он был именно для этого дела, а не для какого-нибудь другого (ведь не требуем же мы от виртуоза на балалайке еще и умения играть в крокет). Свой изумительный талант он показал в эпоху Брестского мира, когда Троцкий сумел лишь пролепетать о чем-то несуразном, что одновременно не мир и не война, а главное — всем своим руководством революцией, лишь по видимости основанном на учении о классовой борьбе, на самом же деле проистекавшим из понимания исконной, хоть и дремотной, вражды русского народа не столько к кулаку и толстосуму, сколько к барину,

т. е. человеку, быть может, и не богатому, но носящему пиджак и воротничок, читающему книжки, живущему непонятной и не нужной народу жизнью. Лучшей гарантией успеха было для революции истребление правящего и культурного слоя, и эту гарантию Ленин от народа получил.

В каждой революции есть три момента: восстание, регламентация, компромисс. Восстание народа против мундира, чиновника, указа и всего того, что перечисляет Самарин в своем письме, было явлением стихийным, и потому не лишенным трагического величия. Ленин на нем сыграл, но Ленин его не выдумал; это оно победило в Гражданской войне, и оно же вызвало тот глубокий перелом в судьбе России, которого не отменят никакие дальнейшие события; поэта и художника только оно и способно было вдохновить; памятником ему останутся «Двенадцать» Блока да, быть может, еще «Рассея» Бориса Григорьева⁶. Сущность революции, однако, сказывается не в восстании, а в регламентации (которой Блок не вынес), ибо она исходит из принципов и схем, желающих стать реальностью. Убийство Кожошкина и Шингарева относится к восстанию, деятельность Дзержинского и постройка Беломорского канала — к регламентации. Аппарат слежки и расстрела был первым успешно действующим аппаратом русской революции, как гильотина — революции французской; в остальном царило долгое время хаотическое бумагопроизводство и сплошная «комиссия наблюдения за комиссией построения» — пока не пришлось считаться с реальностью, хотя бы для того, чтобы не умереть голодной смертью. Отсюда начинается эра компромисса, продолжающаяся и теперь, когда восстание давно кончилось (в 1921–1922 годах), а регламентация в смысле оседлания действительности революционными схемами заменяется регламентацией в смысле оседлания народа государственной властью. От условий, на которых он заключен, от линии, по которой движется компромисс, зависит будущее.

Кнуто-советская империя утверждает, что она строит бесклассовое общество и что эксплуатация трудящихся в ее пределах отменена, тогда как всем давно известно, что там образуется новый правящий класс, а трудящиеся эксплуатируются государством в интересах этого класса и его правящей верхушки. Тем не менее пропаганда лжет умней, чем кажется, потому что трудящийся, эксплуатируемый государством, если он верит, что это государство действительно принадлежит ему так же, как и всякому другому, легче мирится со своей судьбой, а верить он этому готов, если правящий класс мало чем отличается от остального народа в бытовом и особенно в культурном отношении. Вопреки мнению

экономистов, культурные различия переживаются болезненней имущественных; отсюда относительная слабость классовой борьбы в Америке; отсюда преимущество иметь правящий слой, который не являлся бы культурным слоем. По этой линии и двигался компромисс. Испугавшись неурожая, Ленин разрешил торговлю, но запретил культуру. Сталин, торговлю отменивший, ничего не имел против накопления материальных ценностей, но не допустил проявления ценностей духовных. Пока не будет свободы верить, мыслить и творить, не будет культуры (кроме материальной) и, следовательно, может процветать мнимо-бесклассовое, но подлинно бесцветное и бесплодное с точки зрения духовной общество. Такова основа советского строя, остальное — техника, и техника нередко совершенно такая же, какую применяли прежде, в досоветском государстве. Подобие Внешторга существовало при Петре; особые войска, применяемые для охраны порядка, напоминают потешных или опричнину; аракчеевские военные поселения — образец колхозов; комсомольцы, стахановцы, выдвигенцы — будущее служилое сословие; боязнь выпускать подданных за границу была известна Московской Руси и России Николая I. Россией всегда было трудно управлять, и управляли ею всегда механически и жестоко; теперь ею управляют жестче и механичнее, чем когда-либо, но укорять в этом некого, угнетателей не видно, все кругом по-домашнему уютно и серо, и сам отец народов, пока не напялил военного мундира, снимался в тужурке и русских сапогах.

Основное различие между западной историей и нашей в том, что у них народ хотел овладеть властью, а у нас — уйти от власти. Чем меньше он ее чувствовал, тем больше она ему была по душе. Однако при неизменности такого положения вещей тяжба неразрешима. Власть тем круче, тем свирепо-прямолинейней, чем больше растекается под ней и ускользает от нее народ; и чем больше склонны от нее бежать и все, что к ней относится, называть казенным, тем казенней она становится. Анархическому инстинкту русского человека противостоят исключительно жесткие, железные, негнущиеся (а потому в конечном счете и непрочные) формы государственного управления. Покончить навсегда с этим противоречием или хотя бы в достаточной мере и надолго его сгладить не удалось до сих пор ни одному из существовавших в России государственных устройств. Очень возможно, что для русского будущего революционным десятилетиям суждено сыграть в этом отношении решающую роль. Не то чтобы нынешняя власть сумела положительным образом разрешить вытекающую из сказанного труднейшую задачу. Напротив, она опозорила себя

навек таким насилием, таким произволом, каких Россия никогда не знала и каких еще на свете не было. Однако тем самым — можно надеяться — она привела к абсурду не только всякий механический и навязанный сверху способ управления, но и то, что ему противостояло: формобоязнь, недоверие к любому праву и к любой власти, политическую уклончивость и немоту русского народного сознания. Есть основание думать, что после падения свирепой как никогда, но зато и добравшейся не до шкуры его только, а до самого его костяка власти, русский народ поймет необходимость уже не бежать от государства, а организовать его изнутри, из себя, — именно организовать, а не только построить, т. е. сделать его не железным, а живым.

Третья Россия будет сильней и первой, и второй. Революция принесла ей три дара: сознание единства всей огромной страны, участие всего населения в ее исторической жизни, правящий слой, близкий к народу, внутренне не отделенный от него; ни одним из этих даров Россия еще никогда не обладала. Нет сомнения, что именно теперь она на пути к тому, чтобы впервые за почти тысячелетнюю свою историю стать нацией, включающей в себя весь народ. Те, кому этого довольно, т. е. кого удовлетворяет внешняя сила и материальное преуспевание, должны эту третью Россию счесть своей; так они, конечно, и сделают — это вопрос времени и устранения внешних препятствий. Что же касается других, то им следует знать, что хотя революция и принесла России эти неоценимые дары, она кое-что у нее и отняла. Искоренение творческой свободы даром пройти не могло и не прошло. Философия, свободное знание (кроме наук известного направления или в которых не может быть никакого направления) запрещены. В литературе жалкие перепевы «гуманных» мотивов девятнадцатого века и отдельные проблески живого дара или живой мысли тонут в стандартном хламе, вываренном по казенному образцу. Живопись вернулась к Верещагину, скульптура — к Антокольскому; музыка и архитектура подвергаются окрикам людей, ничего не смыслящих ни в той, ни в другой. Вертикальная культура русского образованного общества уничтожена, но уничтожается и горизонтальная культура народа в ее религиозной и бытовой основе. Всеобщая грамотность вполне совместима со всеобщим варварством, а чтение Пушкина — с непониманием азбуки его искусства. Когда культурная преемственность так порвана, как в России, таким повальным истреблением или изгнанием ее носителей, — ее восстановление будет, во всяком случае, очень трудным. Оно станет невозможным при дальнейшем воспитании молодежи в духе партийной дисциплины и технического идолопоклонства. Одно из двух — или

что-то такое случится с Россией, что ее воссоединение с прошлым в последнюю минуту все-таки произойдет, или и в самом деле она перестанет быть Россией. У современной Греции не много общего с Грецией Платона; у будущей России может оказаться еще меньше общего с Россией Пушкина. Имя останется, быть может, и официально будет ей возвращено — но по праву оно принадлежит чему-то иному, не территории, не стольким-то миллионам людей, а всему тому, что ею было создано, всему, чем она жила. Что бы ее ни ждало впереди — мы знаем, что это было.

